

Новая история

Анатолий
Марченко

Мы здесь
живем

INLIBERTY



Новая история

Анатолий Марченко

**Мы здесь живем.
В 3-х томах. Том 2**

«Новое издательство»

2018

УДК 081
ББК 84(2Рос=Рус)6

Марченко А. Т.

Мы здесь живем. В 3-х томах. Том 2 / А. Т. Марченко — «Новое издательство», 2018 — (Новая история)

ISBN 978-5-98379-223-4

Анатолий Марченко – один из самых авторитетных участников диссидентского движения, прошедший в лагерях и ссылках 18 лет и погибший после 117-дневной голодовки с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. Настоящее издание объединяет автобиографическую прозу Марченко, в том числе книги «Мои показания», «От Тарусы до Чуны», «Живи как все» и никогда не публиковавшиеся тексты, найденные в архивах КГБ, политическую публицистику и документы, раскрывающие механику противостояния человека и государства в позднем СССР.

УДК 081
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-98379-223-4

© Марченко А. Т., 2018
© Новое издательство, 2018

Содержание

Живи как все	6
Часть первая	6
От автора	6
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Анатолий Марченко
Мы здесь живем. Том 2. Живи
как все. От Тарусы до Чуны

Серия «Новая история» выходит в рамках издательской программы проекта InLiberty

В оформлении обложки использована фотография из архива Центра содействия реформе уголовного правосудия

Живи как все

Часть первая

От автора

Под этим названием я начал было писать повесть, наброски которой у меня столько раз отбирали на обысках, что я ее пока отложил. А когда я стал писать эти воспоминания, то понял, что слова «живи как все» как раз ко мне и относятся. Эту присказку я слышу всю мою жизнь. Пришлось украсть у самого себя это название для нового произведения.

«Живи как все», как и «Мои показания» и «От Тарусы до Чуны», – произведение документальное. По хронологии оно должно встать между ними.

Те, кто знаком с двумя первыми книгами, без труда обнаружат отличия третьей.

Во-первых, в этой книге больше, чем в первых двух, таких элементов, как рассуждения, попытки осмыслить прошлое и настоящее, попытки, так сказать, увидеть и завтрашний день – и свой собственный, и своей страны, и мира. Поэтому книга «Живи как все», хотя и построена тоже на конкретных фактах, на авторской биографии, – более субъективна.

Во-вторых, в этой книге почти нет имен. На это я пошел умышленно. И вот почему. Мне не хочется оказаться виновником неприятностей для хороших людей. Я согласен с принципом: «страна должна знать своих стукачей». И таких всегда готов назвать. Ну а как быть с людьми честными и порядочными, с теми, кто, рискуя не меньше меня, помогал мне? Да и не только мне одному. Тем более невозможно рассказать о тех, кто делал полезное и нужное сам по себе, делал, не афишируя свою причастность или даже скрывая свои занятия от властей. Даже то, что сегодня не считается криминалом, завтра вполне может оказаться таковым.

Я не всегда решаюсь назвать и тех, кто, сделав много доброго и нужного, потом вынужден был покинуть страну и эмигрировать. Вроде бы они уже в безопасности и можно было бы выразить им свою признательность или восхищение. Но, учитывая особенности нашего исторического развития и наши «национальные традиции», я не могу позволить себе и этого. У нас ведь «никто не забыт и ничто не забыто». Может случиться, что кто-то из эмигрантов пожелает вернуться на родину или навестить родных; назови я их – и вот для властей повод шантажировать этих людей (к сожалению, такую перспективу сейчас принято не учитывать).

По этой же причине я не могу в этой книге рассказать о некоторых фактах и случаях, хотя они, по-моему, достойны упоминания. Они настолько конкретны, что угадать причастных или участвующих лиц ничего не стоит. Предположим, сотрудник КГБ или должностное лицо с глазу на глаз выражает мне сочувствие или даже предлагает помощь. Кто он: провокатор или искренний доброжелатель? Я не знаю. Во всяком случае, я не вправе поставить его под удар, конкретно рассказав о таком эпизоде. А жаль, что такие факты должны остаться неизвестными.

Я стремился к тому, чтобы за измененными инициалами, за анонимными действующими лицами и в зашифрованных эпизодах читатель увидел и ощутил людей – тех, благодаря которым написаны мои книги и относительно благополучно (в отечественном понимании!) сложилась моя судьба. Тех людей, благодаря которым еще как-то возможно жить и дышать в нашей стране.

* * *

Шесть полных лет я провел в политлагерях и тюрьмах. Но никто, никогда, нигде не упоминал о наличии в Советском Союзе политических заключенных. Мир был встревожен и обеспокоен положением политзаключенных в ЮАР и Португалии, франкистской Испании и Южном Вьетнаме, но только не в СССР. Нас просто не существовало. И от этой несправедливости мы готовы были лезть на стенку.

Это было отчаяние обреченных на забвение. Меня тоже возмущало позорное молчание мировой и отечественной общественности по отношению к советским политзаключенным.

Но меня возмущало и наше собственное поведение: мы сами должны хотя бы заявить о себе во весь голос.

Сколько людей вышло при мне на волю! Украинские, литовские, латышские националисты, проклинавшие «тюрьму народов» – СССР; люди, сидевшие «за войну»; такие, кто сел уже в послесталинские времена. Среди них были люди думающие и даже пишущие.

И каждый из них, пока был за колючей проволокой, вместе со всеми возмущался и негодовал, обвиняя весь мир в соучастии с Хрущевым, а потом с Брежневым. А как выйдет – он уже вольный и ему нет дела до страданий тех, кто там остался. Неужели все объясняется обыкновенной человеческой слабостью – трусостью?

Я не сомневался тогда и не сомневаюсь сегодня, что среди освободившихся было немало умных, порядочных людей. Но и сейчас, когда я пишу об этом, встает передо мной давний вопрос: почему?

Конечно, каждый может правдиво и искренне ответить: я не писатель. А я тем более не писатель. К тому же мало просто написать, нужно обеспечить гласность написанного.

Были у меня в заключении друзья, с которыми я мог откровенно делиться мыслями и планами. Сколько раз мы обсуждали этот вопрос! Там, за колючей проволокой, под сторожевыми вышками, мы не видели никакой другой возможности дать о себе знать, кроме как прорваться за границу, найти там журналиста, который этим заинтересуется, и рассказать ему все, что знаешь.

Лучше всего, считали мы, было бы сделать это дело, не покидая страны: важно, чтобы это был голос изнутри. Никто из нас не сомневался, что судьба того, кто выполнит эту задачу «дома», решится мгновенно и бесповоротно – его либо сгноят в тюрьме, либо прикончат втихую. У меня накопилось столько злости за себя и за других, что я готов был бы пойти на это, но я чувствовал, что мне самому не справиться с «писаниной» и с передачей.

Под конец моего срока в нашей печати проскользнуло сообщение о Тарсисе. Мы также внимательно читали все газетные статьи о Синявском и Даниэле, и я обратил внимание на такую деталь, как передача ими на Запад своих рукописей. Но я мог только позавидовать их способности писать плюс возможностям и связям. Никакие мои «связи» не давали мне и слабей надежды найти хотя бы щелку в свободный мир. Итак, оставался только первый вариант, и я решил попытаться его осуществить.

Вообще, эки в лагере нередко сочиняют всякие авантурные проекты кто во что горазд: от плана побега из зоны через подкоп или на воздушном шаре до вооруженного прорыва на волю. А люди деятельные и кидаются в авантюру, не считаясь с риском. Как ни удивительно, некоторые попытки удаются, хотя и крайне редко; большей же частью они кончались трагически. Но об удачах рассказывали легенды. Ходили слухи, что кому-то еще в сталинские времена удалось сбежать из лагеря – и за границу! – и там он опубликовал книжку.

Прорваться через границу? Задуманное дело, на мой взгляд, стоило риска.

В день освобождения, когда я прощался с друзьями, у меня не хватило духу заверять их в том, что наши разговоры не останутся обычным лагерным трепом. И я, стыдясь громких

слов, не обмолвился, не намекнул даже, что окончательно решился осуществить нашу мечту – открыть систему политлагерей для всеобщего обозрения.

* * *

Я не собирался после лагеря оседать где-нибудь на постоянное жительство: я считал, что имею лишь короткий отпуск, данный мне для подготовки к переходу границы. Но, хоть и временно, надо было где-нибудь, все равно где, прицепиться, найти жилье и прописаться, а затем хорошенько осмотреться на свободе. И еще мне хотелось в последний раз побывать в родных местах, повидаться с родственниками.

В Москву я ехал всего на день-два: у меня было несколько поручений от эков к их родственникам. Но этот визит в столицу затянулся и оказался решающим для всей моей дальнейшей судьбы. Нет, я не отказался от задуманного в лагере. Я лишь изменил план осуществления.

С первой же встречи в Москве, с первого дня появления там я увидел и почувствовал внимание и доброжелательность к себе как к человеку «оттуда». Теплота и сочувствие были искренними и откровенными, и мне становилось неудобно, что получаю их ни с того ни с сего, не за какие-то мои заслуги или качества, а просто потому, что я освободился из политлагерей. Ну и, конечно, благодаря рекомендациям.

В нашей стране судимостью никого не удивишь, в Москве особенно: трудно в Москве найти семью из интеллигенции, которая не была бы затронута сталинским террором. Благодаря Хрущеву поток реабилитированных «врагов народа» захлестнул Москву. Эта небывалая для советской власти практическая гуманность создала на какое-то время впечатление, что больше нет в советской стране ни политических процессов, ни лагерей и тюрем с политическими заключенными.

В Москве меня с большим интересом расспрашивали о положении в нынешних политлагерях, и я видел, что это не просто любопытство, что мои слушатели готовы что-то сделать, чем-то помочь тем, кто сидит. Вот, например, одна из знакомых, А.¹, сразу же начала писать моему другу В.², который сидел уже восемь лет – а впереди у него было еще семь. Она посылала ему книги (тогда еще книжные бандероли были разрешены в любых количествах), писала о московских выставках и спектаклях, отправляла новогодние подарки его детям, съездила к его матери. А. и В. остались друзьями и после его освобождения из лагеря.

Если бы где-нибудь велась статистика корреспонденции в лагерь, то с 1966–1967 года она показала бы резкий скачок вверх, потоком пошли книги, репродукции. Особенно важно, что отправляли их не родственники, а совершенно незнакомые люди. Оказалось, что изоляция политзаключенных объясняется отсутствием информации о них, а не безразличием общества. И теперь власти вынуждены изобретать искусственные преграды, чтобы нарушить связь воли с зоной.

Я не хочу приписать все заслуги в этом деле себе. Были и другие источники информации, да и само время было такое – активное. Сидя в лагере, я никак не ожидал такой активности от нашей интеллигенции. А здесь я увидел, что даже разговоры за чашкой кофе не пропадают даром. И это побудило меня изменить способ осуществления взятой на себя задачи.

Одним словом, прожив некоторое время в Москве и осмотревшись, я пришел к выводу, что если мне есть что сказать или написать, то это можно сделать и в собственной стране.

Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. Я рос среди детей железнодорожников. наших родителей не называли паровозниками

¹ Адель Натановна Никольская.

² Валерий Захарович Румянцев.

или вагонниками, для всех рабочих железной дороги было одно название: мазутник. Зимой и летом мазут с их одежды буквально капал, так они им пропитывались.

В нашем двухэтажном деревянном доме было двадцать четыре жилых комнаты и жили двадцать четыре рабочих семьи: в каждой комнате по семье. На три семьи приходилась одна маленькая кухня. Нас, слава богу, было в семье всего четверо. Но семьи-то разные бывают! На таких же шестнадцати квадратных метрах жили и по семь-восемь человек.

Вот отец возвращается из поездки домой. Иногда у нас в это время кто-нибудь посторонний: соседка или родственники из деревни. Умывается отец тут же у печки. А когда ему нужно переодеться, мать берет в руки одеяло с постели и, встав около отца, загоразивает его. Эта сцена была настолько обычной, что соседка не считала нужным выйти хотя бы на время. Так жили мы все. Только если переодевалась женщина-мазутница, гости-мужчины обычно выходили.

От своих родителей мы слышали одно напутствие: не хочешь быть, как отец, всю жизнь мазутником – учись! Жизнь и профессия родителей объявлялись детям проклятыми. Жить – мучиться, работать – ишачить. Другой философии своего существования наши родители не знали.

В пример для подражания нам ставились немногие в нашем городке люди «чистых» профессий: учителя, врачи, начальник депо, директор хлебозавода, секретарь райкома, прокурор. Все они считались интеллигентами. Правда, учителя и врачи материально жили не лучше, а многие даже хуже нас, но зато их работа считалась чистой и легкой. Остальные перечисленные мной в глазах всех были вершиной благополучия и довольства.

В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат, в общем, те, кому деньги платят не за труд, а даром.

А уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками: «кандидат наук», «профессор», «доктор наук»! Обладать такой приставкой, казалось нам, все равно что обладать волшебной палочкой. Жизнь этой публики представлялась нам сплошной масленицей (в нашем городке таких и не было), а труд – не только легким и приятным, но и гарантирующим удобную и роскошную квартиру, автомобиль и прочие блага, о которых наши родители и не мечтали.

И совсем особо, как боги, представлялись нам академики и писатели. И к тем и к другим отношение было двойственное. С одной стороны, всем было известно, что занимаются они делом бесполезным и даже смешным: писатель – писака – брешет, как собака! ученый – каких-то мух разводит. В разговорах между собой над ними пошучивали и даже насмехались. С другой же стороны, все преклонялось перед их всеведением и всемогуществом (но только не в отношении обыденной жизни: всем известно, что никакой писатель «нашу жизнь» не понимает и что никакой академик не сумеет вылечить даже чирей, а одна только тетя Мотя).

Вообще людей интеллигентных профессий объединяли с властью, с «начальством» – а уж начальство за что ж любить? Это хозяева, которые норовят взять с тебя побольше, а дать меньше. Учитель же, врач, инженер, а тем более судья, прокурор, писатель – у них на службе. К тому же обычно начальство и интеллигенция (и их дети) в провинции ведут знакомство между собой, а не с простыми мазутниками.

И в то же время власть натравливала простых людей на интеллигенцию: то инженеры-вредители, то врачи-убийцы, то вообще «враги народа». И «народ» охотно поддерживал эту безопасную для себя травлю.

Никто не скрывал зависти к материальным благам, о которых и знали-то понаслышке и дополняли собственным воображением на свой вкус и лад (как когда-то про царя говорили: «Сало с салом ест и по колено в дегте стоит»).

Полоса отчуждения между интеллигенцией и основной частью населения не исчезла у нас и по сей день.

* * *

Среди политзаключенных было предостаточно людей интеллигентных профессий, но я не сходил с ними настолько, чтобы мое сложившееся с детства представление претерпело значительные изменения. Однако, поразмыслив, я стал разделять понятия «интеллигентность» как культуру и образованность человека – и так называемую «интеллигентную» (то есть не физическую, не мазутную) работу. И к людям интеллигентным в первом смысле у меня возникло уважение, так как обычно это свойство сочеталось с порядочностью, с нравственными принципами, которые особенно начинаешь ценить в жестоких лагерных условиях. Я близко сошелся с молодым заключенным Валерием Румянцевым – бывшим офицером КГБ. Несмотря на поганую прежнюю службу, Валерий, по-моему, был по-настоящему интеллигентным человеком, и я ему многим в себе обязан. К концу срока я познакомился с писателем Даниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему удивлению, я не почувствовал того отчуждения, которое ощущал на воле; я пришел к выводу, что отчуждение отчасти рисовалось собственным моим воображением, а отчасти поддерживалось древним предрассудком и обстоятельствами. И если я не был среди этих людей чужеродным элементом, то в этом большая заслуга их самих.

Но одно дело подружиться с интеллигентным человеком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на воле?

В лагере мы все на общем положении: один конвой для всех, одни нары шлифуем своими опавшими боками, и пайка и карцер одни и те же, и даже одеты в одно и то же. И разговоры общие, и в интересах много общего. Да и в лагере они оказались, потому что они не такие, как все, белые вороны в своей среде, думал я.

И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду.

Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Внимательно вслушиваясь в речь каждого, следя за тоном, я боялся пропустить или не уловить что-нибудь, подтверждающее мое прежнее представление об интеллигенции. Это было не от неуверенности в себе, не от сознания собственной неполноценности перед более культурными и образованными. Это было выяснение и знакомство с новым.

Сам я намеренно не утруждал себя приспособлением, не старался понравиться окружающим. Если не считать излишней подозрительности и настороженности, которую я проявлял первое время, то можно сказать, что я вел себя вполне естественно. Впрочем, со стороны виднее.

Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит десять лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им.

А я-то считал, что советская власть давно уничтожила все живое в стране и в лагерях пытается добить остатки. Так называемый советский народ в моих глазах был покорным стадом, где из каждого в отдельности вытравили индивидуальность. И вот я встретил не одного-двух, а целый слой людей, опровергающих «успехи» советской власти в деле воспитания «нового человека, человека будущего».

Хотя круг моих знакомств в Москве был обширным и все больше расширялся, но, конечно, это были всего лишь десятки, ну, пусть за сотню людей. «Подумаешь, слой, – могут сказать, – да это все те же недобитые остатки, которым рано или поздно найдется место в том же лагере». И ведь действительно, многие из моих тогдашних (и более поздних) знакомых за эти десять лет прошли тюрьму, лагерь, ссылку. Еще больше – эмигрировало на Запад. И все-таки я теперь убежден: не маленькая группа, не отдельные выдающиеся личности, а целый слой

составляет оппозицию обязательной официальной идеологии, режиму в целом и распространенной в нашей стране системе двоемыслия. Этот слой, по-моему, лучшая часть нашей интеллигенции. Он действительно очень тонкий, но он постоянно пополняется и возобновляется, затягивая брешь от репрессий и эмиграции. Ведь двоемыслие, ложь противны человеческой натуре, и этот слой имеет большой внутренний резерв.

Теперь я знаю, что такая ситуация характерна не только для Москвы, но и еще для нескольких больших городов. Правда, в провинции более трудные условия существования иначе: там все у всех на виду и репрессивная деятельность жесточе, поэтому компании, подобные столичным, более узкие и живут более замкнуто. И все-таки они есть, и главное нравственное достижение послесталинских десятилетий, по-моему, в том, что люди стали с доверием относиться друг к другу – хотя бы к друзьям и близким знакомым. Чуть смягчился режим – и порядочность стала объединять людей. Конечно, есть риск столкнуться и с непорядочностью, с трусостью, а то и с прямым агентом КГБ или провокатором, но я говорю не об исключительных случаях, а об отпадном и неожиданном явлении.

* * *

...Меня часто приглашали куда-нибудь в гости или приходили компаниями или поодиночке в дом, где я остановился. Я попал в квартиру, которая еще до моего там появления превратилась в своеобразный центр информации: сюда приходили друзья и знакомые, чтобы узнать от Ларисы³ что-нибудь о Даниэле, о Синявском, а то и просто поговорить, обменяться новостями. Разговоры затягивались почти до утра. И разговаривали здесь свободно обо всем, в том числе и на «запретные» темы. Здесь было с кем спорить и было с кем согласиться и даже остаться в одиночестве со своей точкой зрения не считалось чем-то непозволительным или предосудительным.

Вскоре я познакомился с составителем «Белой книги» Александром Гинзбургом и с самим его сборником. Прочел несколько других самиздатских произведений. Для меня все это было так неожиданно и так ново: ведь из современной литературы я никогда в жизни не читал ничего, кроме официальной пропаганды и произведений, одобренных Главлитом. Это было мое приобщение к живой мысли и к свободному слову.

В конце шестьдесят шестого я как раз застал письма-протесты по делу Синявского и Даниэля (они все вошли в «Белую книгу»). Каково было мне, только что из политлагеря, читать их? Люди *открыто* вступаются за право на свободу мысли и творчества, вступаются за осужденных, да еще тех, кто осмелился опубликовать свои произведения на Западе! И под этими заявлениями ставят собственное имя, да еще указывают профессию! Ничего себе! В лагере немало зэков, угодивших за проволоку за гораздо меньшее.

Я познакомился с некоторыми из авторов и увидел, что это обыкновенные люди, что они не лезут в герои или вожди. Кто они были? Учитель истории, ученый-физик, преподаватель математики, художник, редактор⁴, несколько литераторов и научных работников (некоторые с той самой «волшебной» приставкой: кандидат, доктор). Мне становилось стыдно за мое недавнее мнение о таких людях. Протестующая интеллигенция рисковала куда больше, чем если бы они были простыми «работягами», и, конечно, больше нас, лагерников. Зэку почти нечего терять, он может сказать о себе словами Окуджавы: «Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплат, ни работы...» Вот мы в лагере и прем, как говорится, на рога. А на воле чело-

³ Лариса Иосифовна Богораз.

⁴ Учитель истории – Анатолий Александрович Якобсон; ученый-физик – Александр Владимирович Воронель; преподаватель математики – Николай Николаевич Вильямс; художник – Юрий Яковлевич Герчук; редактор – Людмила Михайловна Алексеева.

век рискует своей любимой работой, карьерой, благополучием семьи, и не на какой-то определенный срок, а, как говорят в лагере, до конца советской власти⁵. К тому же никто из них не гарантирован от ареста.

Со многими из тех, с кем я познакомился в первые дни в Москве, я сдружился, и мы друзья по сей день.

Между прочим, мои представления о материальном положении интеллигенции, конечно же, не выдержали проверки опытом. Первая семья, пригласившая меня в гости, была семья Садомской и Шрагина. Муж и жена, научные работники (он – кандидат наук), жили в пятнадцатиметровой комнате в коммунальной квартире. Обоим надо заниматься, но, если один печатает на машинке, другому и пристроиться негде. В общей кухне толкуются соседки, одна из них постоянно злобно шипит. Зарплата у Бориса чуть выше средней рабочей (помнится, сто семьдесят руб.), а у жены, пока она не защитила диссертацию, была гораздо меньше. Но и после ее защиты не помню самого Бориса в приличном костюме, а Наташу так и запомнил в шубе, которую она носила все эти годы и которая досталась ей, поди, еще от матери.

Так живет большинство интеллигентов. Чтобы заштопать прорехи в бюджете, кто дает уроки на дому, кто подрабатывает переводами или рефератами; я знаю нескольких человек, которые во время отпуска уезжали в Сибирь подзашибить деньгу в строительных бригадах.

С жильем, пожалуй, у них еще хуже, чем у рабочих: у тех хоть есть надежда на квартиру от завода. А учитель, врач, научные сотрудники большинства институтов в Москве будут ждать квартиру от горсовета лет десять, да и на очередь их поставят только в случае крайней нужды. Вот Шрагиных не поставили бы: пятнадцать метров на двоих считается достаточно. И они, как и еще некоторые мои знакомые, вступили в кооператив. Но для этого им пришлось влезть в такие долги, что они их и по сей день не выплатили бы. Когда они решились эмигрировать (Борис как неблагонадежный остался без работы), то перед отъездом сдали свою двухкомнатную квартиру, получили обратно пай – только так и рассчитались с долгами...

Из неофициальных документов и самиздатской литературы я узнал и о том, в какой нужде жили многие писатели в сталинское время. Да и после Сталина не каждого писателя советская власть кормит, многих только подкармливает, а иным и отказывает в куске хлеба.

Любопытно, что такое же представление, как было прежде у меня, сохраняется еще и сегодня у людей, так сказать, государственных: работников милиции, прокуратуры, КГБ и т. п.

Следователь Синявского Пахомов, к примеру, при допросе одного из свидетелей говорил: «Какой он писатель? У него всего одни штаны!» Следователь московской прокуратуры Гневковская после обыска в одном доме иронизировала в своей компании: «Тоже мне интеллигенция! Да у них в шкафу всего один костюм висит!»

В Тарусе младший лейтенант милиции Кузикова обнаружила в одном «неблагонадежном» доме непрописанного гражданина. Вот она проверяет его документы, списывает на листок все данные о нем (чтобы в точности все передать в КГБ) и узнает, что он научный сотрудник НИИ.

– И сколько ж вам платят?

– Сто пятнадцать.

– Хм... Научный сотрудник! – и на лице Кузиковой презрительная усмешка. – Я и то получаю сто семьдесят.

Вот и видно, кто у нас нужнее и кого больше ценит наша страна.

...Что же касается «легкого» интеллигентского труда, то один его вид – сиди себе да чиркай пером по бумаге! – я вскоре узнал, что называется, на собственной шкуре...

⁵ Многие мои знакомые позднее поплатились за свою активность: кого уволили с работы, кого понизили в должности, кого долго мытарил на собраниях, требуя, чтобы раскаялся, – а потом все-таки уволили.

* * *

Знакомство с новыми людьми, с самиздатской литературой, неожиданные впечатления – все это шло у меня вперемежку с другими заботами. А их хватало. В первую же неделю на воле пришлось обратиться к врачу: у меня не проходили головокружения, конечно, из-за недавно перенесенного менингита.

Врач платной поликлиники, осмотрев меня, написал заключение: необходима госпитализация и операция на левом ухе. Но он не мог дать мне направление в больницу, для этого нужно было обратиться в районную поликлинику. А так как я все еще нигде не был прописан, то никакая поликлиника меня не могла принять. Пришлось обращаться в Минздрав, там мне дали направление в Боткинскую больницу на консультацию к отоларингологу. Здесь слово в слово повторили предыдущее заключение, добавив: «...по месту жительства».

По месту жительства! А где оно у меня? И когда будет?

Попробовал я объяснить свое положение врачам, но они отвечали: «Мы больше ничего не можем...»

Наверное, они считали, что можно повременить с операцией. А я по опыту знал, как неожиданно наступает критическое состояние: полтора года назад в лагере меня внезапно свалило и я чудом выжил, переболев менингитом без медицинской помощи.

Конечно, если бы я упал в Москве на улице, то меня сразу на «скорой помощи» отвезли бы в больницу без всякой прописки и места работы. Но не доводить же себя до такого. А симулировать я и в лагере не пробовал.

Однако москвичи приняли самое деятельное участие в моей послелагерной судьбе: и к платному врачу сводили, и в Минздрав и в конце концов пристроили меня в одну из московских больниц к знакомому врачу-хирургу⁶. И не просто пристроили, а отдали меня, как говорится, в очень хорошие руки.

Почти каждый день кто-нибудь из моих новых знакомых навещал меня. Приносили еду и лакомства, развлекали разговорами, снабжали книгами. Решив, что я особенно интересуюсь марксистской литературой, Люда Алексеева приволокла том Плеханова. Для кого-нибудь, может, существенны различия между Лениным и Плехановым, я же, прочитав несколько статей, убедился, что Ленину было у кого поучиться беспринципности.

В больницу мне принесли только что опубликованный в журнале «Москва» роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Вся Москва жила этим событием и ожиданием продолжения романа.

Интерес к роману Булгакова был так велик, что обычно мало кому нужный журнал «Москва» стало невозможно достать. (Я тогда еще и не мог подозревать даже, что пройдет ровно год, и я сам столкнусь с этим журналом, так сказать, лицом к лицу.) Все в этом случае было удивительным: сам роман, его неожиданная публикация после тридцатилетнего лежания под запретом и то, что опубликован он в журнале «Москва».

Булгаковское «рукописи не горят» – не только призыв и напутствие, но и напоминающее-предупреждение всем гонителям и душителям литературы.

После больницы, наряду с другой самиздатской литературой, я прочитал и еще одно булгаковское произведение – «Собачье сердце». Сколько же это будет храниться еще под печатями? Или ему так и не быть опубликованным на родине писателя?

Так я познакомился с одним из лучших писателей России советского периода. А письмо Булгакова Сталину показало мне, какими смелостью и достоинством обладал Булгаков.

⁶ Георгий Владимирович Скуркевич, врач-отоларинголог (в «Моих показаниях», в главе «Дубравлаг» А.М. называет его по имени).

Выписали меня из больницы дня за три до моего дня рождения, но так как 23 января в том году приходилось на понедельник, то мы решили отпраздновать днем раньше, в воскресенье, 22-го числа. Я был приятно удивлен, когда увидел, что вместо тихого вечера в кругу нескольких друзей образовалась очень многолюдная пирушка. Вероятно, это был повод для встречи за одним столом многих знакомых между собой людей и для знакомства тех, кто до этого знал друг друга лишь заочно. Такие встречи были хороши еще тем, что сюда стекались все московские новости.

Вряд ли кто из присутствующих догадывался, что в последний раз перед арестом видит Александра Гинзбурга. Завтра ночью его возьмут во дворе его дома, так и не дав ему предупредить мать.

Пока же он принимает комплименты как составитель «Белой книги»: каждый здесь либо уже прочитал ее, либо подробно слышал о ней. Сам-то он чувствовал, что его вот-вот арестуют, его преследовали по пятам агенты КГБ. Но держался он естественно, несуетливо, в меру выпил, в меру был оживленным. А ему оставались всего одни сутки...

Пока я лечился в больнице, знакомые нашли мне жилье в деревеньке под Малоярославцем. И после праздничного вечера, на другой же день, я отправился в Калужскую область, но вернулся в тот же вечер в Москву со своим заявлением о прописке, исполосованным отказными резолюциями: отказ районного отделения милиции, отказ областного отдела внутренних дел. Мотивировок никаких, одно слово: «Отказать». Устно же мне и там, и там заявили: «У нас таких, как ты, своих хватает!»

С этих пор и по сегодняшний день я убежден: наши мучения начинаются после освобождения из лагеря.

Сколько я исколесил областей, сколько объездил городов, городков и рабочих поселков, сколько обошел пешком деревень в попытке пристроиться! То милиция отказывает, потому что рядом проходит трасса Москва – Ленинград (такую же мотивировку отказа получил год спустя другой освободившийся политзэк – Леонид Рендель). То по генеральному плану застройки города та часть улицы, на которой я нашел себе угол, через тридцать три года, в 2000 году, будет снесена. Отказ. Или, оказывается, в найденном жилище не хватает на меня одного квадратного метра до санитарной нормы, и т. д. Смеются при этом мне в глаза.

Все эти поездки-разъезды трепали мне нервы, съедали мои скудные лагерные сбережения. Главное же, время уходило напрасно. А его у меня было в обрез. Проживание без прописки свыше трех суток уже считается нарушением паспортных правил. Три таких нарушения – и суд, лагерь... Вот и создают нашему брату заколдованный круг, из которого не каждый выбирается благополучно: закон тебя обязывает прописаться, но вот милиция тебе отказывает и делает тебя умышленно «преступником». Очень удобно, особенно в стране безгласной.

Но этого мало. Мы автоматически становимся подсудными и по другой статье: если ты не работаешь подряд четыре месяца, то уже «тунеядец», тоже уголовная ответственность (хотя ты перед тем проработал в лагере без единого отпуска хоть шесть, а хоть и пятнадцать лет! И, может, за эти годы накопил денег на полгода жизни – все равно). Но поди устройся на работу без прописки!

У меня уже истекали и эти четыре месяца. Захотят или случайно заловят – в любой момент могут посадить. Нужно было срочно что-то предпринимать и на что-то решаться.

Единственное, что приходило мне в голову, – лихорадочно метаться в поисках жилья и пытаться прописаться. И каждый раз все слабее и слабее верилось, что авось на этот раз меня пропишут, авось на этом месте смилостивится милиция и позволит мне – *что?! – жить законно.*

А чего стоит у нас – в стране с самым дешевым в мире жильем – найти (не квартиру или дом, нет) хотя бы угол или просто койку под крышей! Описывать все мои метания подробно –

утомительно будет читать, да и неинтересно, везде повторялось одно и то же. Расскажу только об одной поездке – в Курск.

Там у моего приятеля⁷ жила какая-то не то родственница, не то просто знакомая. Вот к ней-то он и решил съездить вместе со мной, отпросившись у себя на работе.

И вот мы в Курске. Весна 1967 года была ранней, и к нашему приезду в конце февраля было тепло и сыкотно. Морозно было лишь по ночам. Знакомая работала в медицинском институте, и мы быстро ее отыскали. К нашему огорчению, она не только ничем не могла нам помочь, но и вообще с пессимизмом отнеслась к нашему предприятию. По ее словам, Курск был очень перенаселенным городом и искать квартиру в нем было занятием безнадежным. И мы ей верили, так как работала она на административной должности – обеспечивала студентам жилье.

– Общежития всем не хватает, – пояснила она, – так мы только прописываем у себя, а уж устраиваются студенты на частных квартирах, углы снимают.

Но не уезжать же, не попытаться счастья. Целый день мы бегали по городу, но нам так ничего и не попало. В городе полно объявлений: «Сниму комнату или угол», «Муж и жена снимут комнату или угол» и т. п., но ни одного объявления с предложением жилья.

Мы обходим окраинные улицы дом за домом – этот метод тоже ничего не дал. Зато уж посмотрелся я здесь такого, чего не мог бы и вообразить. Я с детства не избалован жилищными условиями, но все же у нас в Сибири десять лет назад до такого не доходило, как здесь, в центральной России, в 1967 году – на пятидесятом году советской власти.

Частные дома забиты квартирантами, одинокими и семейными. Хозяева предпочитают сдавать жилье одиноким девушкам, реже – парням. Сдают место для койки. Хорошо, если квартиранту принадлежит отдельная кровать: нередко же на одной кровати спят двое. В одном доме мне согласились дать место на кровати еще с одним парнем – за десять рублей в месяц. Я бы, после стольких неудачных поисков, согласился, но пускали-то без прописки. Здесь жили несколько студентов, кроме моего потенциального «сокочника», все квартиранты были прописаны в институтском либо в рабочем общежитии. Так что и этот вариант сорвался.

Везде висело много объявлений: «Требуется рабочее». Пошли по этим объявлениям – там нет мест в общежитии, там и самого общежития нет.

Так мы попали на кирпичный завод. Мой приятель, не в пример мне, оказался очень про- бивным и контактным человеком. Он легко знакомился с людьми. Отыскал он на заводе какого- то начальника участка, к которому отдел кадров набирал рабочих, и они быстро сошлись настолько, что вот мой приятель уже дает ему свой московский адрес, а тот обещает заехать к нему в первую же свою поездку в Москву.

– У нас общежитие переполнено и милиция категорически отказывается кого бы то ни было прописывать, – вводил нас в курс дела наш новый знакомый, – мы берем новичков на работу без прописки, а когда они немного поработают, добиваемся для них и прописки.

Он дал нам адрес, куда мы должны были сейчас же сходить и узнать насчет жилья.

– У этих хозяев жил полгода без прописки один парень, тоже москвич, у нас работал. Заработал себе хорошую характеристику и поехал к семье. Несколько дней как уехал. А когда договоритесь с жильем, приходите оформляться на работу.

Мы мигом кинулись по полученному адресу. Всю дорогу я не переставал думать о том, пустует там угол или уже сдан. Нам повезло: улица и дом оказались совсем рядом с заводом, не более десяти минут ходу. Улицу я хорошо запомнил, называлась она Хуторским проездом. Место было очень овражное, и к домику пришлось спускаться по крутой тропинке. На наше счастье, хозяин с хозяйкой соглашались взять меня на квартиру. Они проводили нас в какой- то закуток, отгороженный от кухни печкой и переносной самодельной ширмой. Маленькое и

⁷ Друг зубного врача Эмиля Штейнберга.

темное окошечко почти не пропускало света, и в закутке стоял сырой полумрак. Изголовьями к окну стояли здесь две железные кровати. Одна из них была заправлена, под ней стоял чемоданчик. Вторая – голая, с древней, местами прорванной сеткой, густо покрытой ржавчиной. Между койками проход не более метра. Посередине прохода натянута на гвоздях проволока от окна к двери, на этой проволоке висит какая-то пестрая тряпка, стянутая гармошкой. Это еще одна ширма, разделяющая кровати. Таким образом, и закуток делился на две самостоятельные половины.

– На этой вот, – хозяйка указала на заправленную кровать, – спят две девушки-студентки. Вторая свободная сейчас. Если вас устраивает, можете занимать.

А меня сейчас устраивала любая нора. Я устал мыкаться и искать, мне уже все эти поиски осточертели. Я ждал этого «своего» места жительства с таким же желанием, как ждет эк в переполненном «Столыпине», где невозможно встать, лечь, потянуться, ближайшую пересылку – в надежде повалиться на голые нары в самой паршивой камере. Хотя и там эти надежды не всегда сбываются.

– Сколько будет стоить мое жилье?

– С девчат я беру по десять рублей, – отвечала хозяйка, – а с вас за отдельную койку – пятнадцать. Ну, и иногда, может, дров наколете, воды натаскаете...

Мне были обещаны соломенный тюфяк и что-нибудь под голову вместо подушки – это пока я обзаведусь своей постелью.

Я сразу же уплатил хозяйке свои пятнадцать рублей за месяц вперед. Мне было страшно потерять место.

И снова завод. В отделе кадров мне без лишних разговоров подписали заявление, взяли рабочим на погрузку сырца.

Здесь тоже пообещали, что как только я немного поработаю, так для меня добьются прописки в общежитии. А пока меня на работу принимают, но штампа в паспорте не ставят. Короче говоря, я какое-то время должен жить и работать на птичьих правах. Но в тот день я еще толком не способен был это осмыслить. Я был счастлив, что хоть как-то я начинаю устраиваться. И на все странности и неясности смотрел как на временные формальные неувязки, которые вскоре утрясутся.

Меня тут же познакомили с мастером, и я договорился, что завтра утром получу на складе спецовку и рукавицы, а на работу выйду во вторую смену.

Вечером я проводил своего приятеля на поезд. Сам же от вокзала домой решил пройти пешком, чтобы лучше познакомиться с городом, в котором буду жить. Когда мы бежали в поисках жилья, мне было не до того, чтоб рассматривать город. В общем, Курск мне не понравился. Тогда там даже асфальта было мало, и стоило только сойти с центральной улицы чуть в сторону, как можно было увязнуть в грязи или покалечить себе ноги в ямах и на кочках на каждом шагу; и освещался ночью тоже только центр, а по овражным окраинам бреди в полной темноте.

На работу я первый день шел с радостью. Не потому, конечно, что ожидал там чего-то хорошего или приятного для себя, просто, начав работать, я мог увереннее себя чувствовать.

Но к концу дня от этой радости не осталось и следа, ее сменили огорчение, уныние, ощущение безнадежности. И не оттого только, что работа была настоящей каторгой. Это было еще ничего. Меня привело в уныние совсем другое.

От бригадников я узнал, что все мужчины, как и я, из освободившихся. Это были москвичи. Они затолкали сюда свои головы ради того только, чтобы жить и работать поближе к семьям, которые у них в Москве. Раньше, чем через полгода, здесь никого не прописывают. Некоторые из этих людей и живут прямо здесь же, на верху печей. Я сначала этому не поверил, думал, меня, как новичка, просто разыгрывают. Но во время перекура я забрался по лестнице наверх и действительно обнаружил там «жилые углы». Старые телогрейки, лагерные бушлаты и другая грязная ветошь служили постелью, постланной прямо на теплоизоляцию. Каждый из

жильцов выбирал себе место по вкусу: слава богу, хоть здесь не было недостатка в метраже. Несколько человек под электрической лампочкой резались в карты. Были они все грязные, с давно не мытыми физиономиями, как беспризорники в фильме «Путевка в жизнь». По всей площади печей валялись банки из-под консервов, объедки и бутылки из-под вина и водки. Двое прямо в телогрейках спали на ветоши в разных углах.

Какое-то человекоподобное существо, такое же грязное, как и остальные, согнувшись, бегало по печам и в полумраке открывало-закрывало печные задвижки. На меня никто из присутствующих не обратил внимания. Только тот, что бегал, кончив возиться со своими задвижками и направляясь мимо меня к лестнице, задержался на минуту и равнодушно полюбопытствовал:

– Новенький? От хозяина?

– Да.

– Давно откинулся?

– Четвертый месяц.

– Место выбираешь?

– Да нет, я устроился на квартире.

– А-а...

И он спустился вниз. Я еще немного постоял и спустился тоже.

* * *

Когда находишься под сводами цеха и глаз не натывается на такие приметы времени, как электрические провода или вереницы грузовиков, то кажется, будто ты не на современном предприятии, а чудом перенесся на заводы петровского времени.

Тогда я еще не был избалован легким трудом. Довелось плотнеть вредным и тяжелым работам на золотых и урановых рудниках.

В карагандинских лагерях работал на каменных карьерах, где камень добывался ломом, кувалдой и клином, а штабелевался вручную. Так что не мне было удивляться и жаловаться на тяжесть труда.

В Курске я оказался на современной каторге, разве что без кандалов на рабочих. Рабочие толкают по рельсам к печам тяжело нагруженные вагонетки с кирпичом-сырцом. Дорога, как и завод, древняя, как говорят у нас, старше советской власти. Трое-четверо (а среди них и женщины – равноправие!) упираются в вагонетку спинами и толкают ее, пятясь и что есть силы отталкиваясь ногами от шпал под рельсами. Иногда на повороте или на плохом стыке вагонетка забуливается, то есть сходит с рельсов или останавливается. У толкачей не хватает «мощностей» протолкнуть ее через трудное место. Тогда, побросав работу, на помощь приходят остальные бригадники и общими усилиями поправляют дело.

Я должен был снимать сырец с вагонетки и подавать другому рабочему, который стоит у печного проема. Тот, в свою очередь, передает дальше в печь. Там стоит третий и укладывает сырец для обжига. Эти двое, с кем я работал, были женщины.

Чтобы выполнить дневное задание на сто процентов, мы должны уложить за свои восемь часов двенадцать тысяч штук сырца. И заработаем мы при этом по два рубля и восемьдесят пять копеек каждый.

Зарабатывая в день около трех рублей, не прокормишь и сам себя. Дважды в сутки я ходил в ближайшую столовую около рынка. Хотя цены там были умеренные, но каждый раз приходилось выложить копеек восемьдесят: щи «на мясном бульоне», какая-нибудь котлета или гуляш да стакан сметаны – лишнего я себе не позволял. Дважды в день – это рубль шестьдесят копеек. Останется от моего дневного заработка рубль двадцать пять копеек, дай бог, чтобы хватило перекусить еще пару раз. Да и в выходные, то есть неоплачиваемые, дни тоже

ведь надо есть. Одним словом, работай, как каторжник, только ради того, чтобы завтра снова хватило силы для работы. Ни на что другое не останется ни копейки. И пятнадцать рублей за койку в закутке – больше пяти дней каторжной работы! – эти деньги придется экономить на еде.

Но моя работа была еще полегче, чем у других. Я видел, как парни работали на выемке готового кирпича из печей. Вот это была настоящая каторга! Кирпичам давали мало времени для остывания, вынимали очень горячими, лишь бы поскорее: «План горит!» Парни работали по пояс голыми. Они накладывали горячий кирпич в огромные тачки и по дощатой дорожке вывозили на улицу. Пот с них так и тек. Спецовочные брюки насквозь промокали от пота. Как они умудрялись, выскакивая на улицу, не простужаться! Ведь ночью на улице были еще морозы.

В обеденный перерыв рабочие никуда не уходили, ели здесь же, на битом кирпиче, в пыли. И тут хватало шуток и подначек, чаще всего непристойных. Каждую шутку встречали хохотом. Бригада состояла в основном из молодежи, которой всегда хочется веселиться, как бы там они ни утомились, что бы их ни окружало. Некоторые, как и я, не имели прописки – и ничего, жили, не унывали, надеялись, наверное, на авось.

Мне мысль о прописке не давала покоя. Для меня это было очень важно: я хотел бы иногда наведываться в Москву к друзьям. Мне нужны были их советы и помощь, если я попытаюсь писать о лагере. И вообще я чувствовал, что мне трудно совершенно оторваться от той общественной активности, с которой я едва успел познакомиться в Москве. Ездить же туда с паспортом без необходимых штампов было рискованно. Если вдруг меня задержит милиция, то я не смогу ничем доказать, что я не бродяга. Вряд ли мой завод станет вырывать меня из рук МВД. А мне сейчас ни за что не хотелось получать срок за просто так. Вот отработаю неделю, думаю я, зайду в отдел кадров и выясню этот вопрос. Тот начальник, который меня устраивал и обещал помочь с пропиской, куда-то пропал, не показывался на глаза (потом я узнал, что он так пристроил сюда не одного меня и многие поминали его матом).

Вне работы жизнь моя тоже была однообразной. Приходя домой, я заваливался спать. После лагеря я четыре месяца не работал, да еще провалялся в больнице, так что сильно уставал. После ареста, сидения в тюрьме под следствием да пока доедешь до лагеря, тоже отвыкаешь от тяжелой работы, в лагере постепенно втягиваешься и потом работаешь наравне с другими.

В лагере мы обычно давали новичку несколько дней передышки, помогали немного, чтобы он втянулся в работу не через силу, а постепенно. А здесь, на воле, новичок сразу должен был не отставать от других и не задерживать темп работы.

Уматывался я даже себе на удивление. Перекидав двенадцать тысяч кирпичин, я не чувствовал рук. Да и тело все становилось чужим. Мои бригадники, угадывая мое состояние по собственному опыту, только посмеивались и подшучивали надо мной. Шутки все были одного сорта: насчет того, охота ли мне сейчас затащить какую-нибудь Валюху в угол. А сама Валюха тут же и тоже за матерным словом в карман не лезет.

Мне и сейчас непонятно, что гонит наших Валюх на такую каторгу. Они-то местные жительницы и могли бы выбрать себе в Курске работу почище и полегче.

Почти все свободное от работы и сна время я тратил на поиски другого жилья. Конечно, я мог чувствовать себя королем по сравнению с теми, кто жил на печках. Но я согласился бы платить половину заработка, урезая свои столовские обеды, лишь бы иметь отдельный угол.

С хозяевами и девушками-соседками у меня были самые лучшие отношения: мы почти не видели друг друга. Девчат за занавеской я чаще слышал или ощущал их присутствие. Иногда между полом и занавеской видны были две или четыре девичьи ступни. А четверых девушек, что жили в другой комнате, я лишь раз видел в воскресенье, да и то не всех. Хозяйка ко мне относилась хорошо, наверное, им было нехлопотно иметь квартиранта-невидимку.

Через неделю я зашел в отдел кадров и напомнил о себе, что, мол, как бы там устроить мне прописку. И услышал в ответ то, что мне говорили работяги в бригаде: «Поработаете месяцев пять-шесть, тогда и пропишем!»

– Что ж, мне полгода жить на птичьих правах?

– Ага, мы вас пропишем, а вы завтра же сбежите. Много у нас таких в бегах ходит.

– Это ж жизнь до первой встречи с милицией! – пробовал я уговорить кадровичку.

– Не надо попадать в милицию! – было мне ответом.

Так и ушел я ни с чем. Настроение было – хоть удавись. Полгода, легко сказать! Да ведь и точно, не намерен я был гнаться на этой каторге за семьдесят пять рублей в месяц. Подыскивая жилье, планировал я сразу же, как пропишусь, уволиться и поступить на другую работу. Но найти жилье с пропиской оказалось невозможно.

На следующий день я сдал спецовку и попросил расчет.

* * *

В Москву ехал в отвратительном настроении. В который уж раз возвращался со своим балетным чемоданчиком – а в нем мыло, полотенце да пара белья. Мне уже стыдно было приезжать без результата, как будто я сам был виноват, что никак не устроюсь.

Съездил еще в пару мест по добытым для меня адресам – снова милиция отказала в прописке.

И я решил уехать в Сибирь к родителям. Там пропишусь (в Барабинске вряд ли откажут, а если что, родня поможет, найдут знакомство) и сразу же устроюсь куда-нибудь на работу. Тем временем московские друзья подыщут несколько вариантов жилья ближе к Москве. Из Сибири я приеду с паспортом, в котором будут штампы о прописке-выписке, о приеме и увольнении с работы. Лагерь тем самым как бы отодвигается в прошлое: не зэк пристраивается, а гражданин переезжает на новое место жительства. Авось милиция не придерется.

Как раз в день отъезда Наташа Садомская пригласила меня на свою защиту диссертации. Мне, конечно, прежде не приходилось присутствовать на защите и было любопытно посмотреть и послушать, что это за действо.

Наташа – этнограф, диссертация ее была о басках, об их этнографических особенностях и национальном самосознании. Хотя я и не мог понять научной стороны проблемы, но вопрос о национальном самосознании басков вызвал у меня вполне отечественные аналогии – в лагере было много «националистов», которых интерес к той же теме привел не на кафедру, а на скамью подсудимых и за проволоку.

Я не помню уже, были ли какие-нибудь возражения, спор вокруг Наташиной работы. Из выступавших мое внимание привлек молодой испанец Гарсиа (потом я узнал – из «испанских детей», привезенных в СССР в 1938 году, после победы Франко). Он очень живо говорил – помню, рассказывал о каком-то своеобразном способе рыбной ловли у басков, еще были конкретные детали быта – а Наташа-то, испанистка, могла узнать их только из книг, из чужих наблюдений; побывать на месте своих этнографических исследований ей тогда не светило. Вообще же Гарсиа хвалил диссертацию.

Когда я вошел в здание Института этнографии, то чувствовал себя довольно неуверенно: всякий встречный – ученый, все чужие, и я здесь посторонний. Но в зале было несколько человек знакомых, своих, остальные на меня не обращали внимания, и я скоро освоился.

Вот по рядам пошел большой лист бумаги, где каждый ставил свою фамилию и называл место работы: университет, Институт истории, издательство «Наука» и т. п. Лист дошел до меня, и я машинально расписался. Но из какого я заведения? Что указать? Разве что ГУЛАГ?

У меня мелькнула озорная мысль, и я поставил рядом со своей фамилией: «Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС». Ведь и правда, в лагере я полностью проштудировал

Владимира Ильича. Издатель его сочинений – этот институт, и я в каком-то смысле действительно его выпускник. Или, если угодно, сам лагерь можно считать институтом марксизма (правда, не при ЦК, а при КГБ – МВД), только после окончания «курса образования» немногие выпускники остаются марксистами.

После защиты, как обычно, готовился маленький банкет. Но я уже опаздывал на поезд и попрощался с друзьями. Наташа, посожалев, что мне не посидеть с ними на банкете, куда-то убежала и скоро вернулась со свертком. В нем оказался большой кусок того самого торта, который предназначался для торжества.

Есть его я мог уже только в поезде.

* * *

И вот я на родине. Барабинск – небольшой городок между Новосибирском и Омском. Десять лет я не был здесь. Шел от вокзала к дому моих стариков – это минут пятнадцать ходу – и с любопытством осматривался. И ничего-то нового! Как будто не десять лет прошло, а десять дней.

Не знаю, сильно ли переменялся и вырос Барабинск с 1967 года по сей день, появились ли там какие-нибудь новые предприятия, может, заасфальтировали еще одну-две улицы. Тогда, весной 1967 года, все улицы, кроме двух центральных, утопали в пыли и грязи. Окраинные были чище – летом зарастали травой. Стал ходить городской автобус, но по-прежнему в основном едут по дороге грузовики, обдавая прохожих тонкой, как мука, пылью. Легковых машин мало, собственных почти нет. Правда, мотоциклов стало больше – с тарактением проносятся мимо меня.

Как и десять лет назад, все дворы украшены деревянными будками-сортрами. Люди с ведрами идут за водой к уличным колонкам.

Заворачиваю в короткий, заканчивающийся тупиком переулок Школьный. В нем всего восемь домов – по четыре с каждой стороны. Наш дом виден от самого угла. Мы построили его в 1954 году. Мне тогда было шестнадцать лет, и я помогал родителям строить; а пожил в нем всего только год.

Это была давняя мечта моих родителей – занять собственный дом! Все здесь мечтали жить в собственном доме. На покупку денег не было, зато были дармовые рабочие руки – отца, матери и мои. Если лить стены из цемента со шлаком, то материал обойдется не очень дорого: железнодорожникам разрешено брать шлак бесплатно. На соседнем участке строились Радченки, наши соседи по казенной квартире.

Для литья домов нужно было много воды. Стали копать общий – на два двора – колодец. Копать пришлось глубоко, метров десять. Этот же колодец должен был нам обеспечить и поливку огородов летом. Вода оказалась не совсем пригодной для питья – отчасти из-за свежего деревянного сруба. Поэтому для питья и готовки воду нужно было брать из уличной колонки. Ближайшая из колонок находилась в полукилометре – на центральной улице Ленина. Летом воду носили в ведрах, зимой ездили за ней на санках. А колодец наш так и остался единственным в переулке. Воды в нем хватало на все огороды даже в самое жаркое время года.

Мы объединили наши силы: день заливаем стены нам, а на следующий, пока у нас ряд сохнет, Радченкам. Дома одинаковые – пять на восемь метров, то есть комната метров двадцать и такая же кухня. Месяца за полтора вылили оба дома. После этого еще работы хватало: крышу крыли, отец настилал полы, а я и даже маленький брат Борька помогали ему, как могли. Все делали сами, только печника пришлось нанять. К осени въехали в собственный дом, а штукатурили его следующим летом, когда стены хорошо просохли, так что, как говорится, собственными боками сушили. Зато уже с весны засадили свой приусадебный участок. Хлопот у матери прибавилось. И в казенном-то доме у нас было хозяйство: корова, поросенок, куры (самочин-

ные сараи, стайки окружали наш дом-барак), да еще за городом засаживали свои десять соток картошкой. Без этого не проживешь, семью не прокормишь. Не то одно, что зарплаты отца на четверых (а в других семьях и на семерых) не хватило бы, а вот что: где их взять, продукты, хоть бы и было на что купить? За все мои семнадцать лет житья в Барабинске я ни разу не видел в магазине сливочного масла, только маргарин, комбижир, и то не всегда. Между тем масло вагонами отправляли куда-то: мне самому приходилось таскать ящики, когда я в каникулы подрабатывал на погрузке. Мы же иногда, очень редко, покупали масло на рынке или родня привозила из деревни. Своего не было. Не принято было, что ли, масло есть, привыкли обходиться, как все в городке. Молоко пили вволю, материн варенец я до сих пор помню. А масла не ели. Впрочем, сейчас в Чуне (не знаю, как в Барабинске) уже год как нет ни сливочного масла, ни растительного, ни маргарина. И рынка нет, и в деревне не купишь, жена из Москвы привозит за пять тысяч километров.

Мы жили лучше многих, особенно многодетных семей.

«Мои дети голодом не сидели. И одеты были, как принцы: Толику гармонь купили, кожаную куртку», – хвастается мать. У меня и велосипед был, а позже даже баян (на покупку его пришлось продать и куртку, и гармонь).

Каждую вещь, купленную хоть двадцать пять лет назад, мать помнит, а пересчитать их – хватит пальцев на одной руке. Какого труда это стоило родителям! Корову и поросенка тоже накормить нужно; сенокос отводят где-нибудь в дальних и неудобных местах – и за то спасибо! Проблема не столько накосить сено, сколько вывезти его. Сейчас хозяева, у кого есть скотина, подкармливают ее печеным хлебом, а тогда нам самим хлеба не хватало. Да огород, да стирка, починка. Всю свою жизнь мать ведрами таскала воду: из колодца, из колонки, на стирку, на готовку, на мытье, скотине, на каждый корень на огороде.

Заполучив же свой дом, она без конца его мыла, скоблила, подбеливала, подкрашивала что-нибудь. Мать так втянулась в непрерывный тяжелый труд, что и сейчас, в свои шестьдесят семь лет и при плохом здоровье, ни минуты не сидит без дела, разве что в праздник в гости пойдет. Отдыхать она вообще не умеет. То же и отец: едва отоспавшись после поездки, он принимался за домашние дела – дрова надо заготовить, сарай подремонтировать, да еще он сапожничал и тем подрабатывал... Санаториев, домов отдыха он в своей жизни и не нюхал, как и другие наши соседи и знакомые.

Отпуск старались приурочить к необходимым сезонным работам – к сенокосу, к уборке картошки, а то договаривались рубить дом кому-нибудь или копать колодец. Наверное, если б дали ему даже бесплатную путевку (но не давали ни разу за двадцать лет!) – он не взял бы: некогда. Правда, два или три раза мы с ним ездили в гости к родне – это когда его отпуск выпадал на «бездельное» время. Билеты железнодорожник может раз в год получить бесплатно на себя и на семью. Какой радостью была для нас с братом дальняя поездка! Но и эти поездки должны были оправдать себя, то есть оправдать трату времени и денег. Кто везет из Оренбурга несколько пуховых платков, кто с юга яблоки – не себе, а на продажу. Мы привезли от тетки из Средней Азии яблок, и я продавал их на железнодорожном мосту поштучно. Зато и сами поели их вволю во время отпуска!

...В Барабинске тоже весна, хоть и не такая, как в Курске. Снег сошел, в домах на подоконниках в ящиках зеленеет рассада помидоров. У матери наверняка тоже окна заставлены рассадой.

Я не сообщил старикам, что выехал из Москвы. Отец-то на работе, а мать должна быть дома.

Конечно, были неизбежные слезы и причитания, что вот какой я стал страшный, худющий да черный. Но и причитая, мать не стояла на месте: сразу взялась кормить меня и стряпать. Она была такой же шустрой, быстрой, какой я ее всегда помнил, только заметно постарела и

стала как будто еще ниже ростом, чем была (она и от роду-то маленького роста, сухощавая). Наверное, моя непутевая жизнь прибавила ей морщин.

А отец почти не переменялся, только сильно усох. Седины не больше, чем когда вернулся в 1946 году из армии, перенеся всю ленинградскую блокаду. Он уже несколько лет работает не помощником машиниста, а плотником: в Барабинске появились электровозы, и паровозников, у кого позволяло образование, переучивали для работы на новой технике, а неграмотных и малограмотных, как мой отец (он только расписывается кое-как и в газетах может прочесть только одни заголовки), переводили на любое место, куда придется. Конечно, плотнику легче, чем паровознику, но заработок меньше раза в два – два с половиной, а от этого будет зависеть и размер пенсии.

Пока ждали отца с работы, мать успела мне выложить кучу новостей: отец дорабатывает последние дни и уходит на пенсию. В следующую субботу они устраивают гулянку, на которую приглашена вся отцова бригада. У матери поэтому полно хлопот: нужно запастись выпивкой и приготовить угощение человек на двадцать, нужно навести в доме праздничную чистоту, все перемыть, перечистить.

В углу я вижу старый, знакомый еще по строительству дома сорокалитровый бидон. Тогда мать в нем постоянно варила брагу и поила своих «строителей». Да и потом бидон редко когда пустовал.

В детстве мне частенько перепало от матери колодезной веревкой за дело и без дела: за участие в налете на чужой огород, за школьные проделки, за «неподходящих» приятелей. Но у нас в семье в заводе не было прятать от детей то, что было в доме: ни еду, ни деньги. То же относилось и к браге. Лет в четырнадцать я, на зависть своим сверстникам, имел открытый доступ к бидону. И я иной раз выпивал стакан, но ни разу не напивался.

Позже я стал пить больше, но не потому, что вырвался из-под родительского надзора. Просто у меня стало больше поводов для этого и больше друзей-собутельников. Мне повезло начать трудовую жизнь на комсомольских стройках, в геологоразведке, среди шахтеров, то есть как раз там, где пьют больше, чем где-либо. Не знаю, чем бы кончились мои контакты с бутылкой, если бы не один случай. Он сделал меня трезвенником. Произошло это зимой с 1957 на 1958 год. Работал я тогда буровым мастером в геологоразведке в Томской области. Выходное время в маленьком поселке заполнялось выпивкой. В одно из воскресений, просидев за выпивкой весь день и захмелев основательно, я надумал пойти на танцы. На улице было ниже сорока, я вышел из дома, где пили, в одной рубашке, в легких туфлях. И некому было удержать меня или хотя бы заставить одеться. Да я прошел бы и по такому морозу, не привыкать. Но, перелезая через прясла, я свалился в снег, а подняться уже был не в состоянии. Так и замерз бы, да, на мое счастье, мимо проходила молодежь на танцы, меня подняли и притащили в клуб. Там я очухался, под конец даже танцевал и какую-то девушку провожал домой, успев сбегать за пальто и шапкой.

На следующий день на работе я полностью осмыслил происшедшее. Хотя я пил много, но никогда еще не напивался до горизонтального положения и до беспамятства. Я гордился этой своей способностью. Теперь же меня устрасило не то, что я мог замерзнуть насмерть, – страшно было остаться калек: а что, если бы отморозил себе руки-ноги! Под мерный гул и скрежет своего допотопного КА-2М-300 я припоминал барабинского дядю Мишу Михеева. У него не было обеих рук. Их ему ампутировали после того, как он здорово обморозился, свалившись по пьянке в снег. Еще в детстве он пугал меня своими черными культиками. Я реально почувствовал себя без обеих рук, а воображение рисовало всю мою беспомощность: ширинку и то не застегнуть! В девятнадцать лет остаться с черными культиками! Нет уж, лучше веревку на шею. И отшибло у меня интерес к выпивке.

Десять с лишним лет я в рот не брал хмельного. В Москве в первый же день я вызвал удивление моих знакомых отказом от традиционной рюмки. Почти все они пили, а кое-кто и здорово. Но меня почтительно оставили в покое.

А тут сразу замаячили три застолья подряд: в честь ухода отца на пенсию, в честь моего приезда, а недели через две обещает приехать на побывку с флотской службы младший брат Борис.

Встречать приехавшего солдата, зэка или родственника принято обильной выпивкой. Каждая семья, даже самая бедная, ради этого идет на непосильные расходы. Большинству и сейчас не по карману поить большую компанию вином и водкой из магазина. Так что самогон и брага водятся у всех и для всякого случая. Даже у одиноких старух стоит какая-нибудь посуда – авось заглянет кто из родни или шоферу, привезшему дрова, поднести стаканчик, печнику за ремонт печки, плотнику, да и мало ли кому.

Мне не хотелось вгонять родителей в расходы, и вообще я терпеть не могу пьяных компаний. Насилу уговорил я своих стариков подождать Бориса и отпраздновать его и мой приезд одновременно.

* * *

С первого дня мои старики стали спрашивать: как я собираюсь устраивать жизнь после лагеря? Им больше всего хотелось, чтоб жил я при них, в Барабинске, женился бы, завел детишек – матери внучат. Словом, жил бы «как все», раз уж не пришлось выбиться в люди. У меня же было не то на уме! Но я не стал заранее огорчать стариков своими планами, успеют еще нагореваться, если мне удастся их осуществить. Да и не поняли бы они меня. Я знаю, что от них услышал бы: «Тебе что, больше всех надо?», «Справедливости все равно не добьешься», «Себя угробишь, а спасибо никто не скажет». Еще такую советскую пословицу: «Россию всю продали, Правды больше нет, один Труд за две копейки остался» («Правда», «Советская Россия», «Труд» – названия газет).

Эти общежитейские народные афоризмы для моих родителей были и сейчас остаются кровно выстраданными. Не принял их сыночек народную мудрость: как был, так и остался непутевым, загубил свою жизнь...

Несколько дней я просто отдыхал. Навестил немногих оставшихся здесь школьных товарищей и, конечно же, посетил двухэтажный деревянный дом, в котором прошло все мое детство. Посмотрим, как живут «все люди».

Из моих товарищей детства в 1967 году в этом доме жил уже только один Григорий. А когда-то нас тут набиралось две футбольные команды в полном составе – только моих одноклассников, да старшие, да еще девчонки. Теперь Григорий сам отец двух ребятишек. Хоть по-прежнему здесь «все удобства – во дворе», зато живут просторнее: не по семье в каждой комнате, а по две комнаты на семью, третью комнату в квартире занимают старики-пенсионеры. Григорию еще больше повезло: третью комнату у них дали его матери, так что, считай, трехкомнатная квартира в их владении. Мать на пенсии, он и жена работают – нужды нет, денег на жизнь вполне хватает. Григорий – помощник машиниста на электровозе, вроде бы та же работа, что была у моего отца, и заработок не меньше. Та же, да не та: родители наши в мазуте купались, а нынешние машинисты идут на работу в белых рубашках. Отцы, бывало, по двое-трое суток в поездке, и неизвестно, когда их ждать домой; а теперь все расписано по графику, лишнего часа не переработает. Старики, насилу на пенсии отмывшие руки от мазута (а я думал, никогда их не оттереть), смотрят на электровозников не без зависти. А сами молодые опять находят поводы для неудовольствия: «Что толку с наших заработков, когда купить нечего: ни колбасы, ни мяса, ни товаров в магазине», «Разве это работа, ни выходных, ни праздников, как у людей!»

«Как у людей» – это значит, чтобы в праздник как следует выпить; а график праздников не признает. Другие за стол, к бутылке, а электровознику надо ехать. Если другой раз отдых и совпадает с праздничным днем, так выпить все равно нельзя: на носу висит поездка. На железной дороге с пьянством строго, так что «погулять, как люди» остается только в отпуск раз в году или когда ходишь на больничном.

А в общем, как и раньше: «Не дай бог нашим детям быть простыми работягами, как мы, пусть в люди выбиваются, то ли дело за столом бумажки подписывать или языком молотить». (Но это, конечно, теоретические рассуждения, а практически – подрастает лентяй и шалапут вроде нас десять лет назад, и родители рады спихнуть его куда угодно: в военное училище, в ПТУ, в армию раньше призыва, на работу.)

Вот такого рода жалобы слышал я от Григория и от других моих бывших товарищей, торящих ту же дорожку, что и наши отцы-мазутники.

Однако многих прежних приятелей постигли настоящие беды и невзгоды. Григорий рассказывал: Филипп Павлов спивается окончательно, тетя Паша, его мать, умирает от рака (и точно, вскоре она умерла); Вася Гребенщиков поступил в вуз – да не доучился, сошел с ума, сидит в Томске в желтом доме, говорят, никого не узнает; Николай, старший брат Василия, который раз отсиживает в лагере; в лагере и Ромка Цыганков, Витька Чернов («Черный»), Женька Глинский, наш дворовый атаман Юрка Акимов по кличке «Маля»; Иван Сорокин сел на большой срок за грабеж еще при мне, под конец срока «освободился» – умер в лагере от туберкулеза. «Как из нашего двора все поразлетелись – кто куда, навсегда, на до-о-лгие года».

Вадим Павлов утонул по пьянке вместе с двумя своими собутыльниками, его брат умер от рака. Мой тезка, Толик Копейко, расстрелян по приговору суда за изнасилование и убийство. Знаменитость Барабинска, капитана городской сборной по футболу Михаила Чеснока, пырнули ножом, и он умер. Чесноков было три брата-богатыря, младший – наш сверстник, а зарезал Михаила какой-то пацан в пол его роста, зарезал просто так, ни за что. Сестру моего приятеля Володи Глушанина муж зарубил топором. Одноклассник Володя Несмеянов, по кличке «Академик-Президент», сошелся как-то с блатной компанией, и не слишком близко, случайно стал невольным соучастником грабежа – пришел после этого домой и застрелился (пожалуй, единственная осмысленная, хотя и трагическая смерть из всего поминального повествования). Еще один знакомый повесился...

Десять лет я не был на родине – и столько безвременных, большей частью бессмысленных смертей в не очень широком кругу моих дворовых друзей и одноклассников. Когда живешь в большом городе, то чаще всего ты не узнаешь даже о несчастном случае у соседей по подъезду, хотя в большом городе самоубийств или драк с поножовщиной, может, не меньше, чем в глухой провинции. А в маленьком городке каждый такой «случай» пересказывается от дома к дому, обсуждается «устной газетой» – у колонок и колодцев, в магазине и около пивного ларька. Но проходит месяц-другой, и прошедшая трагедия вытесняется из памяти очередной подобной сенсацией. Когда же все такие события за несколько лет обрушиваются, как на меня, в один раз – страшно становится, возникает ощущение какой-то эпидемии.

Сколько самоубийств, нелепых, просто по пьянке! Сколько людей по пьянке разбились в автоавариях, на мотоциклах, замерзли в снегу на морозе! Особенно в праздники – обычно сразу несколько таких смертей. Сейчас, когда я пишу об этом, мне вспоминаются и другие известные мне трагедии, о которых почти никогда не пишут в газетах.

Жители ближнего к Чуне поселка геологоразведки первыми пришли к месту, где упал потерпевший аварию пассажирский самолет, – несколько человек были еще живы. Жив и, как потом выяснилось, неповрежден был грудной ребенок, он громко плакал. Дело было в декабре, мороз под пятьдесят градусов. Мужики и бабы – не бандиты, а мирные жители – ограбили мертвых и ушли. Ребенок вскоре замерз – плач прекратился, стоны тоже умолкли. В живых

остался один пассажир – солдат с перебитым позвоночником, его спасли. Он лежал в чунской больнице и все рассказал.

Вокруг Чуны – тайга, и случается, теряются, пропадают маленькие дети. Вот недавно трехлетняя девочка пропала: родители ушли пьянствовать, бросили ее на весь день и ночь одну, а хватились только утром. По Чуне расходится слух, что ребенка украли и убили изуверы – «баптисты», «святые», словом, верующие, такие слухи подогреваются общим тоном публичной антирелигиозной пропаганды.

Если разом перечислить все преступления, известные мне за несколько лет жизни в Чуне, – волосы дыбом встают! Случаются и настоящие убийства: отец застрелил взрослого сына из охотничьего ружья, а мать убитого свидетельствовала на суде в пользу убийцы; в другой семье подросток-сын застрелил пьяного отца; жена порезала мужа в сообщничестве с его братом и выбросила его, умирающего, под чужой забор, там он и замерз; отец с матерью убили двухлетнюю дочку (она им мешала жить!); одинокая женщина опоила своего новорожденного димедролом и тело (а может, еще живого ребенка) сожгла в печке; приезжего из Одессы убили ради денег; солдат стройбата изнасиловал и убил старуху, другой солдат изнасиловал шестилетнюю девочку...

Никто не говорит, что в советской армии служат насильники и убийцы, но женщины остерегаются ходить в тайгу за брусникой поодиночке.

Я живу замкнуто, «устную газету» не слушаю, и до меня лишь случайно доходит часть здешней хроники происшествий – наверное, не больше половины. Но, по-моему, названных событий за три года на поселок в четырнадцать – пятнадцать тысяч жителей достаточно, чтобы прийти в ужас. Если бы эта хроника публиковалась в газете, чунари, небось, так же боялись бы ночью выйти из дому, как, пишут у нас, боятся американские обыватели. Другие, может, задумались бы: среди кого мы живем? что это за новый человек, воспитанный социалистической системой? Сегодня сосед пришел ко мне взять трешку взаймы, а завтра – мертвых обобрал, ребенка бросил замерзать! Сегодня он горит энтузиазмом, выполняя пятилетку досрочно, а завтра ни с того ни с сего удавился у себя в сених. Нет, я не хочу сказать, что это результат встречных планов или районных школ политпросвета. Это же очевидно: дело не в системе, социалистической или капиталистической (и зря у нас непрерывно обличают язвы капитализма, боюсь, что наши собственные ничуть не доброкачественней), а в каких-то более общих особенностях времени, уровне развития всего человечества, единого, несмотря на пограничные полосы и политические устройства. Тут бы всем сообща, всерьез и поскорее, заняться анализом, искать средства лечения общих злокачественных язв, все равно как от рака. Так нет, где там! «Они» – и «мы», «их нравы» и «советский образ жизни», «в мире насилия» – и «так поступают советские люди» и т. п. Чтобы не подорвать это искусственное противопоставление, закрыта вся статистика: болезней, несчастных случаев, катастроф, преступлений. Какой там общий анализ, когда отечественные специалисты не знают своих же данных: их прячут не только от чужих глаз, но даже от самих себя.

В результате о масштабах преступности лучше, чем специалисты, могут судить сами преступники – например, по степени наполненности (а верней сказать, набитости) тюрем и лагерей. Это непривлекательный способ исследования, но мне довелось его испробовать.

С 1958 по 1975 год я прошел через десятки этих сборных пунктов уголовщины. Но никогда, ни в какой этапной тюрьме я не обнаруживал пустующих – не камер, нет! – мест. За великое счастье в наших пересылках считается иметь с первого дня положенное по инструкции МВД отдельное спальное место. Начинаешь обживать в переполненной камере – твое место на цементном полу у двери, параша или унитаза, кого-то увозят, ты передвигаешься вглубь, а на прежнем твоём месте уже новенький. Камеры переполнены вдвое, втрое и вчетверо против всех норм.

Вот в переполненную камеру с очередным ежемесячным обходом входит прокурор по надзору. Он останавливается в дверях – шагнуть некуда – с блокнотом в руке: «Жалобы, вопросы у кого есть?» Основная масса эков, уже привыкшая жить, как кильки в бочке, не обращает на него внимания. Только новички, впервые увидев этого блюстителя закона, жалуются на скученность. Прокурор привычно, заученно отвечает: «Ну, в вашей камере еще ничего!»

Если же новичок начинает «качать права», то ему есть другой стандартный ответ: «Кто вас сюда звал? Я не виноват, что вас больше, чем мы можем принять!»

Наверное, у нас меньше, чем на Западе, организованной преступности. Но вот хулиганства, преступлений по пьянке, безмотивных преступлений – мое мнение, что страшно много, несмотря на неусыпный надзор за каждым человеком все равно как за потенциальным преступником: прописка постоянная, прописка временная, приехал на десять дней – заполни анкету, куда, откуда, с кем, к кому, зачем, на сколько; за нарушение этих правил – уголовная ответственность, лагерный срок до года. В милиции еще посмотрят, разрешить ли тебе прописку, а нет, так убирайся. Милиционер может явиться в любой дом, к любому гражданину с проверкой: а нет ли здесь непрописанных? Фактически это осмотр квартиры. Обнаруживает непрописанного, кто он ни будь – вполне добропорядочный гость твой, сват, брат, жена, сын, – отвечает перед властями не только приезжий, но и хозяин (мою жену несколько раз штрафовали: впервые – за то, что не прописала своего трехмесячного сына, потом – что я, законный ее муж, находился в ее квартире, а год назад оштрафовали меня за то, что, приехав ко мне, она пропустила установленный срок прописки).

Так вот, при контроле поголовно за каждым – новый советский человек умудряется создавать такую уголовную статистику, что ее боятся опубликовать. Притом ему хватает подручных орудий преступлений: кулака, кирпича, топора; даже охотничий нож не всякий может иметь, на то надо специальное разрешение, иначе – лагерь до трех лет. Вот у нас в народе и говорят: «Чтоб у нас, как в Америке, каждый мог купить пистолет, винтовку? Тогда трупы на улицах некому будет убирать!»

* * *

Из отцовской бригады я никого не знал. Пришлось с каждым знакомиться, когда они по одному и парами стали подходить в назначенную субботу. В основном это были люди молодые, лишь двое-трое средних лет. Бригада состояла из плотников, штукатуров, каменщиков и считалась комплексной. Отца все они называли «деда» – наверное, как и на работе. Одеты все были прилично, добротнo, и это очень бросалось мне в глаза, когда я сравнивал их с прежней барабинской публикой.

С матерью все были хорошо знакомы, вели себя у нас очень свободно. Чувствовалось, что собрались действительно свои люди. Я смотрел на них и думал: «Каковы же вы будете под конец вечера, все ли из вас уйдут домой своими ногами?» Но зря я так о них думал. Сильно пьяных никого не было до конца, и разошлись с вечеринки все нормально.

После двух-трех обязательных тостов все заметно захмелели и оживились, стали петь, танцевать, заводить разговоры. Вместе с новыми песнями пели и старинные, знакомые мне еще с детства. Без них и раньше не обходилась ни одна гулянка: «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла», «Я остался сиротой», «Бежал бродяга с Сахалина», «По диким степям Забайкалья», «Скакал казак через долину», «Тонкая рябина», «Среди долины ровныя», «Вы не вейтесь, русые кудри» и другие.

Все гости знали о моем недавнем прошлом. Знали даже, что освободился я из политического лагеря. И я с опасением ждал «вопросов-расспросов», неприятно о серьезных вещах говорить с подвыпившими людьми. По пьянке каждому не терпится выложить «своему» чело-

веку все, что на душе, похвалиться храбростью и принципиальностью, обматерить родную власть; назавтра, трезвый, он опять станет послушной скотинкой, из-за трусости и безразличия поддержит и одобрит любую подлую акцию, а подзаведут его, так и сам поучаствует с большим энтузиазмом. Ни собственной мысли, ни ответственности. Может, потому спьяну так и распускают языки, что чувствуют себя свободными от ответственности. То за них вино ответит, а то очередной руководитель. Терпеть не могу эти пьяные излияния и хвастовство.

Но за весь вечер никто меня, слава богу, ни о чем таком не спросил.

Когда напелись, стали налаживать музыку: трое гостей, и я с ними, с трудом разобрались, как подключить к сети только что подаренную отцу радиолу. Я сказал:

– Прямо как в газете: «Провожая труженика на заслуженный отдых, местком преподнес ему памятный подарок».

Помогавшие мне женщины громко рассмеялись, а парень сочно выматерился:

– От нашего месткома дождешься! Х... съешь, а два высерешь.

Оказалось, местком-профком никакого отношения к подаркам не имеет. Бригадники по собственной инициативе купили в складчину приемник с радиолой и наручные часы. Они знали, что у нас в доме никогда не было приемника и часов отец мой за всю свою трудовую жизнь не собрался приобрести. Он с часами и обращаться-то не умел. Когда эти, подаренные, в первый раз остановились, то он еще кое-как завел их сам, но вот через неделю, когда нужно было их немного подзавести, он со смущением просил меня показать, как это делается. Я этим был смущен больше него: уж что-что, а часы отец мог бы иметь и от родного сына.

Производство же проявило свое внимание лишь в форме напоминания: зайти через два дня в бухгалтерию и узнать точный размер пенсии. Она оказалась пятьдесят пять рублей в месяц: пятьдесят рублей пенсии плюс пятерка на жену-иждивенку. Это за сорок лет непрерывной работы, в том числе около тридцати на паровозе, в том числе за все годы войны, с первого и до последнего дня.

Когда все гости разошлись, а мы стали прибирать дом, я спросил, всегда ли бригадники так пристойно ведут себя на гулянках.

– Всяко бывает, – ответил отец, – другой раз и до драки доходит.

Мать была очень довольна, что все обошлось тихо и мирно. Долго еще будет она вспоминать эту вечеринку и рассказывать знакомым при случае: хоть выпивки хватало, а за весь вечер никто друг другу грубого слова не сказал! Так принято говорить у нас, когда вечер обходится без того, чтоб кому-нибудь расквасили морду. Все, что предшествует мордобоем, скандалом не считается.

Вечеринку по случаю приезда моего и Бориса – младших Марченков – справил у себя дядя Федор, материн брат. Собрались барабинские родственники, из Тюмени приехали два сына-студента дяди Федора – старший, Василий, и младший, Вовка; средний, мой тезка, жил с отцом, работал штатным инструктором Барабинского райкома комсомола.

На этой вечеринке тоже пили самогонку, пели песни, а когда большинство кое-как разбредлось по домам, мы с дядей Федей и с братьями просидели за разговором до утра. То ли из-за меня, «политического», то ли так у них в семье повелось – все подкалывали среднего брата. Анатолий не скрывал от родни, что намерен делать партийную карьеру. Он обладал некоторыми необходимыми для этого качествами: с первого слова в нем виден был демагог и циник, карьерист, любыми средствами претворяющий в жизнь любые руководящие указания вышестоящих товарищей. С нами – даром что родня – он держался высокомерно-снисходительно, как посвященный с непосвященными, не опускался до спора, а небрежно поучал.

– Собрание – мероприятие организованное, и никто не позволит пустить его на самотек, – обрезает он Вовку, который, как Моська, насккивает на него:

– А спрашивают: кто желает выступить? Какие будут предложения?

– Вот и выступают, кому следует, и предложат то, что надо.

– А я что, не могу?

– Когда нужно будет, тебя подготовят. Хотя с твоими настроениями – вряд ли...

Дядя Федор весело толкает меня локтем, хохочет и пьяно кричит:

– Видал их е...ю демократию?!

Между прочим, сам дядя Федя – член партии с довоенных лет еще, только никогда никаких постов не занимал, руководил разве что своим дизелем: много лет проишачил в нефте-разведочных экспедициях. Никакой корысти от своего партбилета он не имел, мировоззрение его вряд ли чем отличалось от мировоззрения моего беспартийного отца и прочих работяг, груза ответственности за действия родной партии, как, впрочем, и гордости за нее, он никогда не чувствовал: «У нас не спрашивают, а против начальства не попрешь». Бессознательно он отграничивает себя от «начальства» (в лице родного сына): «их е...я демократия». Сын же, сознавая свое превосходство, свысока объясняет:

– Демократия – это тебе не анархия. Думаешь, просто, например, собрание провести? Это тебе не мешки на горбу таскать. Если без подготовки – охламоны вроде Вовки такого наголосуют, сами после не рады будут. Так что сначала собираешь актив, надежных людей, доводишь до них поставленную задачу. Обсуждаем, решаем, как ее внести в массы. Когда актив подготовлен, тогда собрание...

Вовка кипятится и заводится еще больше:

– А я захочу – и скажу без вашей шпаргалки! Кляпом, что ли, заткнешь?

– А ты пробовал?

Младший смешался, сбился, но хорохорится:

– А х...и ты сделаешь?

– А ты попробуй. Если жопы не жалко.

– При чем тут жопа?

Отец снова хохочет, снова толкает меня в бок:

– А при том, дурак, что тебя за жопу и в КГБ!

– С такими и без КГБ справляемся. Тем более – студент.

Я задал двоюродному тезке только один вопрос:

– У тебя ни разу не было осечки с собранием?

– У меня – нет, – самодовольно ответил он. – У других бывало. Но ведь это, в конце концов, неважно...

– Ну а тогда что?

– Баламутов за жопу и в КГБ! – кричит дядя Федя.

– Ты, папка, отстал от жизни. Кому охота с ними мараться, с мелкотой этой? Подумаешь – покричал на собрании! А что он скажет, Вовка наш? Ему ж и сказать нечего. Выгонят из института, всего делов. Инструктору, конечно, неприятности. Выговор могут дать или даже хуже, карьере конец. С людьми надо уметь работать...

Все-таки Тольке не удалось сделать карьеру партийного работника. Может, не хватило изворотливости, не сумел держать нос по ветру (подвело так называемое политическое чутье), может, не завязал нужных связей, а ближайший покровитель сам оказался недостаточно про-бивным. Конкуренция на этом поприще очень велика, отпихивают друг друга – ладно, сейчас хоть головы не летят, а в конце 1930-х годов каждая следующая ступенька завоевывалась ценой жизни предшественника. Брежнев с поста секретаря техникумовского парткома влез на самую верхушку пирамиды; читая его биографию, поневоле думаешь: а кто был его предшественником, скажем, на посту...? почему не назван?

...Всего лет пять пройдет, и троих из этой компании не станет. Дядя Федя, крепко выпивши, врезался на своем мотоцикле во встречный грузовик и разбился насмерть. Василий, старший брат, разбился на автомашине в Тюмени. Дядя Гриша Первухин, тоже бывший тогда

на вечеринке, вскоре утонул в бензине: оскользнулся и упал в открытый люк железнодорожной цистерны.

* * *

Прописка в Барабинске прошла без придинок, никто мною не поинтересовался: отдал я паспортистке паспорт с военным билетом и получил тут же обратно со штампом.

Через несколько дней после приезда я стал подыскивать себе работу. Делал это тайком от родителей: они уговаривали не торопиться. А я не хотел сидеть у них на шее. К тому же мне надо было скопить денег на обратную дорогу и на первые месяц-два на другом месте.

Я мог рассчитывать только на самую черную работу, ни одна из моих прежних вольных профессий теперь не годилась из-за глухоты и хронического отита. Но мне повезло: на хлебо-завод требовался грузчик. Меня сразу приняли.

Конечно, таскать мешки с мукой дело не из легких, но я через неделю втянулся в работу и таскал их наравне с остальными. Нас в бригаде было трое, и наше дело было доставить муку с элеватора на завод.

Работали только днем. Лишь когда вагон с мукой приходил не на элеватор, а прямо на завод, приходилось разгружать его в любое время.

Мешки с мукой уложены на элеваторе штабелями в два человеческих роста и выше. С верхних рядов каждый сам снимает свой мешок и тащит. А доходит до нижних, двоим приходится стоять на подаче: бросать мешки на спину третьему, и он их таскает в машину. Так же таскаем и из вагона.

На хлебозаводе тоже приходится штабелевать мешки до самого потолка. Так что сначала бросаем мешки под ноги, мостим себе из них лестницу и по ней бегаем с мешками под потолок. За смену мы завозили где-то тонн около сорока – более десяти тонн на каждого из нас, с погрузкой и разгрузкой выходило каждому перетаскать более двадцати тонн. Получали мы там в месяц рублей по сто шестьдесят – сто семьдесят. Лучшего мне в Барабинске было не найти.

Жизнь провинциального городка меня угнетала: я не находил себе занятия в свободное от работы время, а его было предостаточно. В половине пятого я всегда был дома. Отдохнув пару часов и час-полтора повозившись дома, я от нечего делать уходил на последний сеанс в кино. Я заводился каждый вечер от сознания того, что трачу драгоценное время на ерунду. При такой жизни я очень скоро могу оказаться таким же, как и большинство из тех, кто освободился до меня. Втянусь в ежедневные житейские заботы, а на главное дело времени не найдется. И по-прежнему никто в мире не будет знать ничего о мордовских лагерях – теперь уже и по моей вине.

Я стал по вечерам садиться за тетрадку. Решил попробовать набросать хоть что-нибудь: изложить некоторые факты, записать имена, события, даты, а то потом все это может и забыться. Пусть будет никуда не годный черновик – все равно это хоть что-то, из чего можно будет отобрать потом нужное.

Я сам отлично понимал, что у меня ничего не получается. Я тонул в подробностях совершенно ненужных, мелочился в деталях и не мог отсеивать, отбирать. Я злился сам на себя за неспособность свою, за неумение. И не с кем было посоветоваться, некому было показать. Именно в это время я особенно остро почувствовал, как мне необходимы мои новые друзья, как мне нужна Москва.

Я решил не дожидаться, пока достаточно «разбогатею» на хлебозаводе, а ехать, как только напишут из Москвы, что нашли где-нибудь жилье. Пока же, чтобы подзаработать, я – опять-таки втайне от родителей – ходил на железную дорогу разгружать вагоны с гравием, углем, цементом, известкой. Деньги платили здесь сразу же по окончании разгрузки.

* * *

Романтические воспоминания о мальчишеской дружбе в первое время тянули меня к друзьям детства – тем, кто, не превзойдя науки, так и не вышел «в люди» и остался в Барабинске (несколько моих одноклассников, окончивших технические вузы, осели в больших сибирских городах).

Мало кто из моих друзей детства удержался и не запил горькую. Нет встречи без бутылки, все разговоры вертятся вокруг выпивки, да еще футбола, да чужой или своей семейной жизни: тот женился на такой-то, та вышла замуж, те давно развелись, эти сошлись снова в пятый раз, этот муж ушел, а тот, наоборот, жену выгнал из дому – «и поделом!», другие же не расходятся, хоть живут как кошка с собакой. И тому подобное. Меня в этих разговорах поражало равнодушие ко всему на свете – даже к собственному завтрашнему дню. И, в общем, безучастие друг к другу. Пока были мальчишками, парнями – ходили одной компанией, вступались «за своих», а переженились – и компания осталась только для выпивки. Конечно, сослуживцы денег соберут между собой – на похороны кому-то или, как моему отцу, на пенсионный подарок; и соседи погорельцев приютят. Но это больше в силу еще сохранившейся традиции, чем из-за живого сочувствия к ближнему – а тем более к дальнему.

А уж брюзжание и ругань по адресу наших порядков, наших властей – мне надоело и противно было слушать. Всегда, у всех одно и то же, и слова одни и те же, и рецепт от всех бед один: перевешать их, бл...ей; перестрелять, перерезать, пере..., пере... А чего хотят взамен? В общем, сами не знают. Если вдуматься, так того же, что имеют, – хозяина над собой и над страной, владыку живота своего и ответчика за все.

Двенадцать лет назад барабинское окружение ужасно угнетало и раздражало меня. Я чувствовал себя чужим в родном городе. Сейчас я живу в совсем маленьком городке, еще дальше от Москвы. И люди здесь такие же, как в Барабинске: такие же интересы, те же разговоры. Но нет у меня прежнего раздражения. С годами я понял, что был несправедлив к своим землякам. Они жили обыкновенной жизнью, теми интересами, какие эта жизнь им диктует. Равнодушие к чужой и к своей судьбе, пустопорожнее брюзжание, может, даже наше пьянство – это, скорее всего, результат многовекового крепостного состояния, которое длится и по сей день.

Могу ли я презирать соотечественников за то, что они не знают, чего хотят? В конце-то концов, мое собственное неприятие советских условий жизни не более конструктивно, чем общее бесцельное неудовольствие. Насильно замурованные, отгороженные от мира идейно и физически, лишённые информации не только о мире, но и о самих себе, – мы способны только к разрушительной критике (кто во что горазд) и к выработке идей, не соотнесенных с реальностью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.